

ПЕРСТЕНЬ ДОСТОЕВСКОЙ

Рассказ

«Милый друг, нежный друг, помни ты обо мне», — страстным и прекрасным женским басом пропела в прихожей Елена Образцова: психотерапия начинается с лестничной площадки.

Тем не менее он не вышел к посетительнице: пусть усвоит, что если назначено на одиннадцать, то и нужно приходиться в одиннадцать, а не в десять пятьдесят. Пусть пока посидит на кухне, Сима найдет, чем ее развлечь. Надо, надо их приучать к точности, а то совсем уважать перестанут. Да и время нужно и впрямь экономить, за десять минут вполне можно набросать тезисы к вечерней лекции о войнах с точки зрения психосинтеза.

Все начинается с того, что людей интересует только исключительное: они так часто и упорно, да еще и привирая, рассказывают друг другу о редчайших проявлениях храбрости, верности, щедрости, что понемногу начинают считать исключительное нормой. Но им и этого мало — они начинают сочинять уже нечто исключительное даже среди исключений, — населяют воздушные замки своих культур никогда не существовавшими призраками Неустрашимости, Бескорыстия, Милосердия, Преданности, а затем начинают стыдиться того, что сами они совершенные пигмеи в сравнении с заоблачными вершинами невозможного. И поскольку никто не смеет признаться в своей мизерности, полагая, что он единственный среди прочих святых и героев трус и шкурник, все становятся рабами своих же собственных фантомов. Когда демагоги или дураки провозглашают нечто высокое типа «Лучше смерть, чем предательство», «Мы своих не сдаем», никто не осмеливается возразить, что вся его жизнь, как и жизнь каждого нормального человека, есть нескончаемая вереница предательств, — в итоге, выбирая между правдой и смертью, трусы и шкурники выбирают смерть, потому что решаются признать правду о себе лишь тогда, когда отступать уже некуда.

А если бы они были с самого начала заземлены, спокойно отдавали себе отчет, что они людишки так себе — трусоватые, подловатые, не лишённые тяги к высокому, но только за чужой счет, — и не облегчали себе задачу убивать, защищая свою ложь, таких же так себе людишек, изображая их чудовищами и недочеловеками, вместо того чтобы честно понимать, что и те людишки как людишки, с кем всегда можно сговориться за счет щепотки идиотов, кои вразумлению не подлежат, ибо и впрямь верят во что-то заоблачное, — короче, если бы народы понимали, что существует только земное, то они и вели бы себя, как это им свойственно в земном, — где поднажать, где отступить, где схитрить, где поблагородничать, но чтоб без особого риска и особых затрат. В земном и конфликтовали бы по-земному:

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году. Окончил математико-механический факультет ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Известный прозаик и публицист. Живет в Санкт-Петербурге.

лаялись, сплетничали, пакостили по мелочи, самое страшное — убивали из-за угла, но только поштучно, своих личных врагов.

Снова вся беда оказывалась в идеалах.

Под их игом томятся даже короли и президенты. Хотя тех-то реальность заземляет особенно жестоко, они ежеминутно ощущают свое бессилие перед ее могуществом, но если они попытаются отдаться чистой целесообразности, откажутся хотя бы изображать попытки достичь невозможного, то тут же прослынут трусами или тиранами, циниками или глупцами в глазах идеалистов, а в нынешнем якобы прагматическом мире в глубинах подсознания даже шкурника из шкурников таится идеалист. Но самыми опасными источниками идеалистической заразы всегда будут те мирки, где люди никоим образом не расплачиваются за последствия своих решений, — это всевозможные интеллигентские кружки и кружочки, целиком проживающие в мире умственных конструкций, в воображаемых мирах, где можно сколько угодно витать в облаках без малейшей опасности разбиться. И в будущем царстве психосинтеза главной задачей государства сделается заземление интеллигенции, недопущение никаких детских садиков и кастальских заповедников, где бы люди были защищены от жестокостей жизненной борьбы. Должны разрушаться прежде всего культурные династии, начинающие слишком много о себе воображать: если отцу удастся выбиться в интеллектуалы, в деятели духа, то дети непременно должны быть отправлены на фермы или в ремесленные, а то и военные училища. Или торгово-коммерческие — мелочный расчет заземляет еще лучше. Технические подробности пока разрабатывать не стоит, этим легко насмешить. Главное, усвоить основную цель — заземлять, опускать на землю каждого, кто пытается взлететь, освободиться от власти природы. В том числе природы человека.

Всегда останется, правда, щепотка таких идеалистов, кого невозможно заземлить никакими силами, — это клинические сумасшедшие и никчемные недотепы, кому никак не ужиться с реальностью. Если такой станет наливать чай, то обязательно ошпарится, если возьмется выгнать корову в стадо, то непременно попадет ей на рога, — эти придурки всегда будут воспевать превосходство духа над материей, ибо с нею им никакими силами не управиться. Однако они будут неопасны. Поскольку станут вызывать исключительно смех, если не позволять им отсиживаться в каких-то башнях из слоновой кости. Только они в царстве психосинтеза и будут угнетены — сумасшедшие санитарями, а недотепы реальностью. Собственно, достаточно и того, чтобы все идеалисты считались или больными, или смешными, необязательно угнетать их еще и физически. Но власть земли, власть физической силы каждый должен постоянно наблюдать рядом с собой. Образованным людям ни в коем случае нельзя позволять уединяться в каких-то заповедниках, они всегда должны жить в джунглях криминализованного дна, где царит нагая сила, — только это и позволит уничтожить самые истоки идеалистической и утопической заразы. Все должны каждую минуту ощущать: жизнь груба и жестока, и нужно каждую минуту радоваться, что тебя не убивают и не насилюют, — только такое мироощущение может выжечь смертоносные фантазии о бесплотной любви и безнасилованном земном рае.

Итак, резюме: никто не должен быть свободен от грубой, грязной, животной стороны жизни. С этим уже можно выходить к публике. Зеленые цифры на электронном табло промигали десять пятьдесят восемь — как раз хватит времени пригласить в кабинет и усадить.

Пациентка оказалась неожиданной — типичная колхозная бабуса в цветастом платке, прикрывающем половину лица, будто после побоев мужа-механизатора, и в длин-

нющей, до башмаков, юбке из синего сатина, из коего когда-то шили семейные трусы. Обе дамы были так увлечены разговором над забытыми чашечками-блюдечками-печенюшечками, что не обратили на него внимания, хотя сидели перед кухонным окном боком к нему.

— Значит, вы говорите, ваш супруг раскрепощает? — с надеждой переспрашивала колхозница (такие слова знает!.. И к психоаналитику выбралась — какой прогресс, вот уж не думал, что народ от земли когда-нибудь тоже придется заземлять!..). — А вас он раскрепостил?

— Еще как, — уверенно отвечала Сима. — Вы не поверите, я когда-то громко пукнуть боялась!

Узнаю брата Колю...

Он откашлялся, и Сима очень солидно обратила к нему напрягшиеся яблочки щек, а колхозница принялась суетливо собирать сатиновую юбку, чтобы подняться и заранее торопливо кивать с забитой собачьей улыбкой. Она была не так уж и стара, вернее, совсем не стара.

Он уже было приступил к преувеличенно галантному полупоклону, приберегавшемуся для особо жалких пациенток, однако Сима поспешила перевести его в другой регистр:

— Познакомься, это Ульяна Достоевская. Та самая, телеведущая. Твоя, можно сказать, коллега. Она тоже раскрепощает наш народ. Вернее, раскрепощала. А теперь сама... Ну, она тебе все спокойно расскажет. Проходи, пожалуйста, в кабинет, — Сима уже обращалась с еще не совсем померкшей телезвездой, будто со старой подружкой, оказавшейся в сложной, но вполне поправимой ситуации.

Ульяна Достоевская порождалась светом из тьмы вместе с ресторанным столиком, за которым она располагалась, а что таил полумрак позади ее, так разглядеть и не удавалось — не то сауна, не то замедленная нудистская дискотека, не то... Но Ульяна не позволяла надолго отвлекаться. В первый миг вылитая советская кукла, что закрывала глаза и нежно квакала, когда ее укладывали на спину, воплощенная невинность — носик уточкой, алые губки пуговкой, — она начинала медленно наводить на невинные глазки загадочный прищур, одновременно растягивая младенческие губки в двусмысленнейшую порочную ухмылку, покуда на экране не возникала прожженная шлюха в глубоком декольте, в котором при малейшем движении колыхались две дыньки-«колхозницы». Не сводя со зрителя влекущего взора, она медленно раскрывала кукольный ротик и сладострастно вводила в него розовое эскимо, а затем еще более сладострастно выводила.

И так несколько раз подряд. Затем эскимо откладывалось и начинался «свободный разговор о свободном сэксе» — постреливающие глазки и полизывающий язычок неустанно напоминали, что мадам Достоевская хотела бы сказать гораздо больше того, что ей позволяет современное ханжество, но она надеется, что зрители это понимают и сами.

— Егор и Людмила заметили, что их сексуальная жизнь теряет новизну, — кончик язычка проходит по губкам, складывающимся в особенно двусмысленную улыбку. — Но они сумели сделать свое семейное гнездышко местом увлекательнейших игр. Сейчас они их нам покажут.

Егор и Людмила, на удивление унылые и необаятельные, бредут к зеркальному шкафу, внутри которого обнаруживаются свисающие кандалы. Егор угрюмо стаскивает с супруги кофточку (она терпеливо, будто корова перед дояркой, ждет, пока обнажится ее жирная спина), растягивает ее дряблые руки кандалами в проеме шкафа, напяливает себе на одутловатую голову черную кожаную маску и начинает

пошлепывать немолодую Людмилу какой-то мухобойкой, приводя на память старый анекдот, как советский служащий подбил жену устроить домашний стриптиз: «Правильно говорил парторг — отвратительное зрелище».

— Теперь семейная жизнь Егора и Людмилы течет гораздо увлекательнее, — мадам Достоевская вновь вводила в ротик сладострастное эскимо, а Сима, если она оказывалась рядом, начинала выходить из себя:

— А где их дети?! Она что, считает, что семья существует для *сэкса*?!.

Почему, не только. Денис, например, с Аллой еще и возделывают дачный участок. Но чтобы дело шло повеселее, они включают туда садомазо: широконогая скуластая Алла изображает надзирательницу в концлагере, ударами плетки-многохвостки подгоняющую Дениса по тощим волосатым ягодицам (о надетых стрингах свидетельствует лишь поясок на поясице).

Сэкс уместен всюду — Никита и Маргарита скрашивают будни при помощи регулярных осмотров в гинекологическом кресле (виден блеск и слышен лязг нержавеющей расширителей). А Геннадий стимулирует Зару вибратором при помощи дистанционного управления во время производственных совещаний в офисе (искусственный пенис в ее руке вращает безглазой головкой, словно змееныш-искуситель, наказанный слепотой).

Сэксу все возрасты покорны, а он покорен им. Компания плешивых и седовласых пенсионеров и пенсионерок возится на матрасном ринге неразличимым клубом (он так и называется — клуб «Мафусаил»), а Ульяна Достоевская, облизываясь, разъясняет, что в этом возрасте нельзя забывать о безопасности: аппарат для измерения давления, сердечно-сосудистые средства должны прилагаться к виагре, да и скорая медицинская помощь должна оставаться в шаговой доступности.

Одиноким предоставляется резиновая женщина, обращению с которой госпожа Достоевская учит, облизываясь особенно сочно: не подмажешь — не поедешь.

Такой же нежности и заботы требует презерватив, а для приверед, коим его натягивание кажется недостаточно романтичным, рекомендуются кондомы, расписанные тюльпанами и даже светящиеся голубым и розовым.

— Свет и во тьме светит, — игриво завершила Достоевская и погрузила эскимо в свой миниатюрный ротик с особенным сладострастием.

— А режиссер Игогоев показывает людей такими, каковы они есть, какими не решился показать их мой однофамилец Достоевский, — по небольшой сцене бегают друг за другом, тряся причиндалами, тощий волосатый Раскольников и коротенькая жирная Соня Мармеладова...

— Если не секрет, Достоевская — это ваша настоящая фамилия?

— Нет, что вы. Но это уже и не псевдоним, я и паспорт поменяла. Я ему с детства завидовала — бывают же такие знаменитые фамилии, не то что моя — Крышкина, ни одного Крышкина знаменитого нет. Я жила в своем Мухосранске, отец нас бросил, мама билась как рыба об лед, чтобы нас с братиком прокормить да одеть — она мне так с детства и вдальбивала, что все мужики козлы... Я и одета всегда была хуже всех. Смотрю телевизор и вижу: есть женщины, перед которыми все мужики стелются. И понимаю, что мне нужно только туда. Или в петлю.

Из-за жары, не унимающейся даже ночью, не поймешь, отчего она раскраснелась. Но колхозного в ней остались разве что дыньки, по-прежнему живущие за пазухой собственной жизнью. И путь она прошла далеко не колхозный. Она сыпала названиями телеканалов, по которым ей пришлось выгрести против течения — что-то вроде ДТП, ДСП, ЖПС, и козлов таки она там повидала побольше, чем в любом колхозном стаде. Она так уже и смирилась, что не встретится ей в жизни ни один порядоч-

ный мужчина, и вдруг ее полюбил самый настоящий принц — он физик, кандидат наук, теперь таких просто не бывает, к ее прошлому относится очень сочувственно, понимает, как ей тяжело было пробивать себе путь наверх. Он и зарабатывает неплохо, зовет ее поехать на три года в Швейцарию, и она отдала бы полжизни за эти три года, но над ней нависает ужас разоблачения. Нет-нет, принц все понимает, он верит, что все эротические сцены в Интернете с ее участием — сплошной фотомонтаж, но у принца есть отец, настоящий король, человек из другого времени, ко всему современному относится с гадливостью, он и телевизор, на ее счастье, никогда не смотрел, но если кто-то когда-нибудь ему покажет, а такие козлы, особенно козлихи, обязательно найдутся, из Интернета уже ничего не вырубишь топором...

И тогда ей остается только в петлю.

Никогда бы не подумал, что это кукольное личико способно выразить такую смесь надежды и отчаяния.

— А скажите, пожалуйста, почему вы позволяете кому-то быть судьей ваших поступков? Чем он это заслужил?

— Как чем заслужил?.. Да всей своей жизнью!

— А что, вам так хорошо известна его жизнь? Вы уверены, что он и в самом деле не совершил в своей жизни ни одного безнравственного поступка?

— Ну, тогда и вся жизнь была другая, там такая порнуха вообще не допускалась...

— Такая не допускалась, а другая допускалась. Каждое время имеет свои соблазны, и он совершенно необязательно перед ними устоял.

— Ну, знаете, если так рассуждать, вообще никому верить нельзя!

— Правильно. Надо помнить, что все люди всего только люди, что ангелов среди нас нет.

— Нет, Сергей Поликарпович совершенно особенный человек, он настоящий верующий христианин!

— Но тогда он должен сказать: порадитесь со мною, я нашел мою заблудшую овцу. Вы разве не знаете, что на небесах больше радуются одному кающемуся грешнику, чем девяносто девяти праведникам, не имеющим нужды в покаянии? Почему ваш Сергей Поликарпович должен судить строже, чем небеса? Он тоже должен понимать, как вам было нелегко найти в себе силы...

— Но в том-то и дело, что он не сможет этого понять, он сам наверняка никогда не испытывал...

— Если не испытывал, то и не может судить тех, кто испытывал.

— Мне вас просто страшно слушать!

Надо ж как они позволили себя поработить этим самоназначенным наместникам идеалов!

— Что ж, если он вас так запугал, киньтесь ему в ноги, поклянитесь, что вас нечистый попутал, но теперь вы до конца своих дней будете ходить в черном и каждый день перед ним исповедоваться во всех своих греховных помыслах.

Мадам Достоевская, однако, сарказма не расслышала, ее кукольное личико просияло надеждой, наивные шоколадные глазки широко распахнулись.

— Вы думаете, поможет?..

— Почему нет? Может быть, ему только того и нужно.

— Ой, спасибо, вы мне прямо жизнь вернули!

Она вскочила и ринулась к двери — прямо сейчас бросаться в ноги. Потом кинулась обратно: ой, я про гонорар забыла! Лихорадочно отыскала в сумочке беленький конвертик, вложила ему в руку, мелко кивая: спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!.. Снова кинулась к двери и снова вернулась. Стянула с пальчика кольцо и вложила ему его в другую руку (он и встать не сообразил): это вам будет память

обо мне! Правильно я сделала, что в Москве ни к кому не пошла! Вот что значит культурная столица!

И простучала башмачками окончательно. За дверью выкрикнула Симе: спасибо, он гений! Ответа Симы он не расслышал, но, судя по спокойному тону, ответ был утвердительный, типа «я это всегда знала», затем грохнула стальная наружная дверь, и в их родной двушке воцарилась тишина.

Он посмотрел на перстень — вроде как серебряный. А вместо камня на него смотрел наивно распахнутый шоколадный глаз.

Сима вглядывалась в раскрытый ноутбук зачарованно, как деревенская девочка в распечатанную коробку с шоколадными конфетами, — в последнее время она увлеклась розыском затерявшихся одноклассников. Заметив его, вскинула сияющие глаза:

— Я Верку Баранову нашла!

И еще более радостно:

— Я ее не любила!!

И совсем уже ликующе:

— Она дралась!!! Каким-то пояском!!!!

Дитя...

Охваченный нежностью, он стал за спинкой стула и положил ей руки на плечи (их жар ощущался даже сквозь пестрый узбекский халатик), и она немедленно тоже разнежилась:

— Ой, почеси, пожалуйста, спинку!

Давно они не предавались этой забаве.

Он принялся легонько скрестись ногтями, как это делают кошки, пытаясь обратить на себя внимание, а она, изображая оргиастическую негу, как бы не в силах вымолвить ни слова, только большими и указательными пальцами показывала: правее, левее, повыше, пониже...

Понемногу его эта игра начала возбуждать, он принялся обнажать ее спину, ничуть не менее упитанную, чем у Егоровой Людмилы, но это вызывало уже не брезгливость, а сострадание и лишь усиливало нежность. Да, только сострадание и может одолеть беспощадную власть идеалов.

Он уже ласкал ее груди, тоже ничего себе колхозницы, и, подняв ее со стула, потихоньку двигал в сторону спальни.

Однако на пороге она заартачилась:

— А ты мылся?

Снова эта мания отмывания, и шок ее не излечил.

— Мылся, мылся!

— Дай я убедюсь... убежусь... я тебя сама вымою. Как в детском садике. Какой красивый у тебя петушок, целый петушище!.. Все бы хотели такой иметь!

— Надо будет его в музей выставить.

— Нет, тогда все на него накинется, я лучше буду его хранить в своей частной коллекции... Что это он у тебя совсем заземлился, дай я его возвышу...

Они поливали из душа друг друга по очереди, но он все-таки отводил глаза, не мог не замечать отвисающей груди, нависающего животика...

Не так-то легко выбраться из-под тирании идеалов. А когда дошло до дела, его петушище чуть не свернул себе шею, тщетно пытаясь пробиться в родной курятник.

— Вы помните еще ту сухость в горле, — смущенно пробормотала Сима, и он вспомнил уроки Достоевской: не подмажешь — не поедешь.

— Подожди, я сейчас вернусь.

Он пошлепал на кухню — там на подоконнике сияют целых две пластиковые бутылки подсолнечного масла. Вспомнил, что какой-то француз выскальзывал из объятий Поддубного, намазавшись неведомым прованским маслом. Оливковым, что ли? Удивительно, что от всех этих процедур желание еще неокончательно заземлилось.

Но когда он в неполной боевой готовности снова приблизился к супружескому ложу, Сима, расположившаяся в позе рембрандтовской Данаи, начала настороженно принохиваться:

— Ты подсолнечным маслом, что ли, намазался? Я смотрю, винегретом пахнет. Что это он у тебя опять заземлился?

— Ладно, давай отложим.

— Почему — я люблю винегрет.

— Может, еще огурчиков соленых покрошить?

То, что она уже была снова горячей и потной, делало ее только роднее.

И так после этого славно поработалось над набросками новой науки — психиатрической истории. Он давно понял: все нынешние войны, революции, рыночные и антирыночные преобразования, кампании за нравственность и за безнравственность не что иное, как коллективные психозы. Фишка в том, что психоз — это вовсе не что-то редкое, «патологическое», но абсолютно нормальная и присущая каждому реакция на ситуацию беспомощности и непонятности. Роды — после пытки сдавливанием и удушьем обрушивается грохот и ослепляющий свет, — психоз на месяцы, а может быть, и годы. Тиски пеленок — новый психоз. «Закаливание» — неведомо за что топят в отбивающей дыхание ледяной воде — новый виток психоза. Неведомо с чего обрушивающийся гнев отца, попеременные то шлепки, то тискания матери — еще один завиток. И увядают они хоть отчасти лишь от пребывания в мире понятном и послушном.

Но есть одна неустранимо психотическая сфера — это история: в ней от начала и до конца времен все неизвестно из чего возникает и неизвестно почему исчезает, и лишь полным безумцам кажется, что они могут что-то там понять и чем-то управлять, — вот они-то и становятся революционерами и реформаторами, потому что людям менее психотичным еще страшнее оставаться перед тайной экономических катаклизмов и национальных извержений. Поэтому искать причины войн и революций в экономике, в безопасности совершенно то же самое, что интересоваться, хорошо ли варила щи домохозяйка, убитая мужем-параноиком за связь с японским микадо. Избавить от ужаса перед историей может отнюдь не участие в ней в качестве манипулируемой безумцами букашки, но, напротив, максимальная изоляция от нее в любом маленьком, понятном и послушном мире.

Семья как средство ослабления политических психозов — это будет его следующая лекция в школе психосинтеза.

А шоколадный глаз Ульяны Достоевской, скромно прилегши на бочок, не сводил с него наивно распахнутого взора.

Как там, интересно, у нее сложится с ее Поликарпычем?..